

УДК 316.1
УДК 316.7

ВЛАДИМИР АБУШЕНКО,

кандидат философских наук, доцент, заместитель директора по научной части Института социологии НАН Беларуси

Постсоветская социология: мультипарадигмальность и “тоска” по теоретическому синтезу

Аннотация

В постсоветской социологии в последнее десятилетие стала очевидной тенденция к поиску теоретического синтеза. В статье анализируются основания этих интенций и выявляется их методологическая и эпистемологическая недостаточность. Показано, что такого рода основания могут быть заданы только с метатеоретических позиций. В качестве одной из основных попыток такого рода рассматривается программа культур-социологии.

Ключевые слова: *теоретическая социология, социология социологии, культур-социология, классическое, неоклассическое, постнеоклассическое знание, неоклассика, онтология, методология, эпистемология, теоретический синтез*

1

В последнее десятилетие в постсоветской социологии заметно усилились тенденции к поиску дисциплинарного теоретического синтеза. Во-первых, все явственнее стали высказывания, квалифицирующие полипарадигмальность в социологической теории как проявление переходного и/или кризисного ее состояния, а также связывающие с ней так называемую методологическую травму социологического знания. Одновременно призывы к новому дисциплинарному синтезу сопровождаются критически-рефлексивным осознанием неудач, постигших все основные попытки, предпринятые в этом направлении в западной социологии. Во-вторых, все четче формулируется требование умерить “империалистические” дисциплинарные притязания социологии, разграничить “социальное” и “социологическое” и, соответственно, социальную и социологическую теории, вернуться к мето-

дологическому и аналитическому пуризму, свойственному знанию, претендующему на статус научного. Однако параллельно приходится констатировать, что за всю историю социологии как самостоятельной дисциплины можно привести не так уж много примеров успешности попыток такого рода. Более того, проблематизируется сама возможность применения классического понимания “теории” к теоретическим социологическим построениям. В-третьих, в связи с нарастающими устремлениями к институциональной реформе науки и образования в целом и их социально-гуманитарной составляющей в частности все отчетливее звучат призывы к их “прикладизации”, понимаемой скорее сквозь призму менеджериализма и социальной эффективности научного знания. При этом, однако, предполагается, что введение обязательных внешних “контрольных” критериев по отношению к преобразуемым научным познавательным практикам не разрушит дисциплинарных принципов организации знания, а лишь будет способствовать его большей прозрачности и защите от междисциплинарного “размывания” демаркационных границ.

Представляется, что все интенции подобного рода базируются на латентном, непроговариваемом стремлении сохранить (обновив и институционально по-новому обеспечив) комплекс классических представлений об идеалах строго дисциплинарно устроенного (объективного) научного знания. Основные проблемы, с которыми сталкиваются социальные науки (социология) на современном этапе своего развития, вольно или невольно связываются в этом случае с необходимостью поиска адекватных ответов на “вызовы времени” — появление новых предметностей (тем и проблем), требующих совершенствования старых или даже создания новых инструментов и/или иных институционально-организационных форм для успешного их освоения. Вызовы же самому социальному научному знанию как таковому (его потенциальным возможностям) в этом случае учитываются и анализируются главным образом с точки зрения необходимости противостояния дискредитации дисциплинарных научных образцов, а тем самым рассматриваются почти исключительно как неизбежные фоновые явления, имеющие мало отношения к сути дела. Более или менее отчетливо эти латентные установки значительной части научного сообщества начинают просвечиваться при наложении на них связанных с эффективностью применения научного знания (его “прикладизацией”) ожиданий властных и управленческих элит.

Вызовы социологическому знанию на самом деле носят в настоящее время тотальный характер и способны поставить под сомнение сам его проект. И не в последнюю очередь это связано с кардинальным изменением предметного — проблемно-тематического — поля социальных наук (в том числе и прежде всего — социологии). Иным стало само общество как предмет интереса социальных наук. Как бы понятийно ни схватывались и ни концептуализировались общества последней трети XX — начала XXI века (как постиндустриальные, позднего или рефлексивного модерна, постмодерновые, информационные и т.д.), понятно, что эти предметности иные, чем те, с которыми имели дело социальные науки ранее (промышленные, индустриальные, модерновые и т.д. общества). Принципиально иначе стали пониматься процессы исторической и социокультурной динамики, характер “социального”, “экономического”, “политического”, их внутренняя орга-

низованность и взаимодействие между собой. Не мог не измениться и круг проблем и тем, находящихся в фокусе внимания современных социальных исследователей.

Столь резкая трансформация “реальности”, с которой традиционно имели дело социальные науки, и их проблемно-тематического поля не могла не вызвать не менее существенные изменения и в самих этих науках. На “поверхности”, которая прежде всего и фиксируется, — появление нового категориально-понятийного аппарата, изменение инструментального обновления методического оснащения социальных научных дисциплин. Однако уже эта “поверхность” породила целый спектр вопросов иного уровня. Как соотносятся разные терминологические ряды и языки описания? Насколько и каким образом возможно (и возможно ли вообще) сохранение преемственности по отношению к предшествующим языкам описания и самим этим описаниям? Но с постановкой такого рода вопросов “поверхность” начинает приобретать все большую “глубину”, с неизбежностью порождая проблемы онтологического, методологического и эпистемологического характера, оказывающиеся ключевыми для ее понимания (и выходящие при этом за пределы предметного поля любой из социальных дисциплин).

Неизбежные дифференциация и специализация внутри самой науки еще больше способствовала “рассыпанию” выглядевшего более или менее единым социального (в нашем случае — социологического как во многом модельного по отношению к социальному) знания на автономные друг по отношению к другу фрагменты (субдисциплины), появлению различных концептуализаций даже внутри этих “фрагментов”, “непереводимости” ряда языков описания, артикуляции дихотомий теоретико-методологического характера внутри самого социологического (социального) знания. Однако одновременно шло столь же неизбежное “размывание” демаркационных границ между различными дисциплинарными полями, усилились тенденции к междисциплинарным построениям, которые также подпитывались обозначенными выше изменениями самой “социальной реальности”. Эта разнонаправленность векторов развития научного знания не могла не сказаться на дисциплинарных самоопределениях представителей постсоветских научных сообществ и их оценках состояния дел в собственных научных дисциплинах.

Постсоветская ситуация усугублялась еще и действием ряда дополнительных факторов. Так, впервые ставшая возможной полноценная институционализация социологии сопровождалась глубочайшим кризисом сложившихся ранее теоретико-методологических направлений, вплоть до деклараций о необходимости полного отказа от наследия советской эпохи (то есть эпистемологического разрыва с ним). В предлагаемом контексте рассмотрения нет необходимости возвращаться к анализу тех ограничений и способов внедисциплинарного контроля, в рамках которых происходило развитие социологического (и всего социального) знания в позднесоветское время; гораздо важнее обратить внимание на то, что развитие социального знания шло в условиях декларируемого его единства в рамках марксистско-ленинской методологии научного анализа, а также обязательной (часто вполне ритуальной) критики всех иных его версий, репрезентируемых “современной буржуазной” социальной наукой. Сегодня стало уже очевидным как то, что это единство было в значительной мере только рамоч-

ным, так и то, что оно в значительной мере базировалось и на других основаниях.

Возрождение социологии в СССР не могло идти иначе, чем под знаменами марксизма (понимался ли он при этом в научном сообществе консенсусно — другой вопрос), но реально в его основании находились прежде всего установки и разработки американской (по преимуществу структурно-функционалистской) неоклассики, опознанной позже Э.Гидденсом как “ортодоксальный консенсус”, сложившийся в западной социологии и доминировавший в ней вплоть до 60-х годов XX века. Конечно, восприятие этого круга идей было достаточно избирательным и сам факт его максимально затушевывался, да и влияние марксистского круга идей (якобы “аутентично прочитанного” К.Маркса, а на самом деле скорее неомарксизма) несомненно присутствовало. Однако в рассматриваемом контексте важнее не углубляться в затронутую тему, а обратить внимание на два обстоятельства, имевшие непосредственное значение для происходившего уже в постсоветской социологии.

Во-первых, в советской социологии были заимствованы образцы, которые на момент их рецепции уже подвергались серьезной критике и теряли свое доминирующее положение в западной социологии — “ортодоксальный консенсус” начинал распадаться на глазах. Тем самым в советской социологии исходно было заложено стратегическое отставание методологического и эпистемологического характера, которое к тому же усиливалось доминированием общей картины социального мира, вводимой с позиций марксистской парадигматики (пусть даже частично и ушедшей от догм ортодоксального марксизма). Во-вторых, вместе с кругом идей неоклассической социологии был воспринят и характерный для нее, но восходящий еще к О.Контю, а в критической версии — к Марксу, образец единого (объективного) дисциплинарного научного знания. Заимствованные идеи и появившиеся свои оригинальные разработки, на них базировавшиеся, как раз и стали предметом последующей критики (далеко не всегда рефлексивной, а иногда и просто несправедливой) и, частично, отторжения в постсоветской социологии. При этом, однако, влияние усвоенного неоклассического образца знания стало предметом рефлексивно-критического рассмотрения далеко не сразу — латентно он продолжал довлеть над формирующимися новыми научными сообществами (в силу своей глубокой интернализации в сознании/ментальности их представителей, можно сказать — в силу “габитусности”).

Пространство прежних дискредитируемых и вытесняемых концептуальных схем и теоретических построений, а соответственно и категориально-понятийного аппарата в 1990-е годы было плотно заполнено новыми заимствованиями. Однако они производились уже (в отличие от начала 1960-х годов) из разных исследовательских подходов, плохо согласуемых между собой без специальной теоретической работы. А вот методологических и эпистемологических усилий в это время как раз и не доставало или они разворачивались достаточно автономно (главным образом в философии) от вводимых в социальные науки представлений. Основные усилия направлялись на освоение новых содержаний, а не на критическую рефлекссию их оснований. В результате сложились автономные и достаточно замкнутые сообщества приверженцев идей П.Бурдьё, М.Фуко, феноменологов, этнометодологов, постструктуралистов, постмодернистов и т.д., кото-

рым по-прежнему противостояли приверженцы неоклассики, сумевшие сохранить сильные институциональные позиции в новых научных сообществах. Некоторые из представителей этих научных сообществ, в том числе и для того чтобы избежать методологических и эпистемологических “разборок” просто стали раскручивать идеи ряда влиятельных теорий — постиндустриального общества, общества транзита и др., делая акцент на их согласовании с реалиями постсоветских стран. Однако ограниченность подобного рода ходов к настоящему времени вполне осознана и признана, отчасти даже среди их бывших адептов.

Понятно, что для хотя бы относительного преодоления отрыва от доминирующих тенденций в мировой социологии (и социальных науках в целом) репрезентация отсутствовавших в предметном (проблемно-тематическом) поле постсоветской науки подходов, теорий, концепций и т.п. была неизбежной и необходимой. Однако недостаточное внимание исследователей к основаниям собственных построений привело к абсолютизации большинства новых предложенных теоретических перспектив при сохранении латентного действия неоклассического образца единого (объективного) дисциплинарного знания, который так и не стал (за некоторыми исключениями) предметом радикальной проблематизации.

На сложившееся противостояние различных теоретических перспектив в постсоветской социологии (социологиях) и была, как представляется, некритически перенесена идея мультипарадигмального устройства социологического (социального) знания. Есть основания полагать, что подвергнутая затем критике идея мультипарадигмальности социального знания имеет отношение не столько к этой идее как таковой, как к ее контекстуально-ситуационному воплощению в условиях постсоветского развития — противостоянию замкнутых на себя и репрезентирующих себя как самодостаточные теоретических перспектив, с недостаточно отрефлексированными основаниями, латентно действующим образцом (объективного) дисциплинарного знания и т.д. В этом ракурсе рассмотрения идея критики мультипарадигмальности имеет отношение к сложившейся здесь-и-теперь (в постсоветском пространстве) познавательной ситуации и требует переосмысления в более объемной предельной рамке. Точно так же нуждается в дополнительном анализе и идея “нового синтеза” социологии — на основе пересмотра неоклассического образца (объективного) дисциплинарного научного знания.

2

Для выявления оснований возможного комплексирования различных теоретических перспектив в социологии и иного понимания образца научного знания необходим выход на уровень метатеоретического анализа. В принципе социология (в отличие от других социальных дисциплин) давно имеет такие возможности. Имеется в виду такой ее раздел, как социология знания, включая социологию социологии. В последние десятилетия в значительной степени тот же круг проблем стало изучать такое метатеоретическое по своим основаниям направление, как социальная эпистемология. Однако возможности и ограничения каждого из названных направлений анализа — тема отдельного анализа, весьма слабо к тому же разработанного и артикулированного не только в постсоветской социологии. Для реализа-

ции целей данного текста ситуацию можно значительно упростить (но тем самым неизбежно и огрубить ее).

В качестве основания дальнейшего анализа может быть принято различие в современной эпистемологии классического, неклассического и постнеклассического (по)знания (и, соответственно, разных типов научной рациональности, предлагающих различные образцы знания). Приемлемая исходная версия для такого различения была достаточно доказательно разработана в работах В.Степина (что не значит отсутствия иных разработок в этой области). При этом, однако, следует учитывать, что степинская схема была выработана на материале анализа естественнонаучного знания (хотя в своих последних работах В.Степин стал активно использовать и материал социальных и гуманитарных наук). Тем не менее адекватность наложения этой схемы на социологическое (социальное) (по)знание по сути специально не обсуждалась (что не мешает ее использованию), а применительно к эпистемологической оценке теперешнего социологического проекта (проектов) практически не применялась. (В то же время следует отметить, что в социологии часто используется и иное наименование этапов развития знания — классическое, постклассическое, включая неоклассику, и постнеклассическое, а также двухчленная схема различения — классическое, включая неоклассику, и постклассическое, или неклассическое знание.)

Не имея здесь возможности, да и необходимости вдаваться в обсуждение всех критериев различения названных типов научного знания, как и их самих, остановимся лишь на некоторых ключевых моментах.

В концептуальной схеме В.Степина акцент сделан на том, что современная (постнеклассическая) наука имеет дело со сложными и открытыми самоорганизующимися системами (далее следуют, как правило, отсылки к синергетике). С точки зрения социального знания, здесь нет ничего принципиально нового — оно исходно имело дело уже в своей “классике” с допускающими именно такое распознавание предметностями. Иное дело, что социологические дискурсы классического и неоклассического типов слабо и недостаточно это артикулировали. Для социологии (и социального знания в целом) значительно большим эвристическим потенциалом обладает другое принципиальное положение рассматриваемой концептуализации. Речь идет о прослеживаемом Степиным движении от объекта “самого по себе” (результат познания соответствует “действительности”, как она есть “на самом деле”) через признание влияния субъекта на объект (признания зависимости результата от инструмента измерения) к тезису о включенности субъекта в познавательную систему (что всегда ведет к таймированности и локализованности получаемого результата).

Однако и в этом случае трудно удержаться от замечания о том, что даже для социологической неоклассики было самоочевидно, что результат опроса напрямую зависит от инструмента (той же анкеты), соблюдения техник и процедур, да и от личностных характеристик анкетера и уж тем более — интервьюера. Правда, осознание того же применительно и к своим теоретическим построениям давалось социологам гораздо труднее. Тем не менее современная социология после работ Бурдьё, Фуко и др. (ряд можно продолжить, а первенство того или иного автора оспаривать, что лишь подтверждает “неслучайность” возникновения такого рода дискурсов) достаточно много и всесторонне говорит об условиях собственного (вос)производства при-

менительно к практикам социальных наук, о необходимости “объективации субъекта объективации”, “наблюдения за наблюдающим” и т.д. Другое дело, что социальные теоретики, некритически следующие за неоклассическим образцом (здесь можно сказать: и за идеалом) знания, продолжают упорствовать в поисках единого онтологического и/или методологического основания для теоретического синтеза, оформляющего получение “единственно верного объективного результата”.

Соответствующая реконструкция по крайней мере социологического знания позволяет обнаружить все нарастающий в теоретических дискурсах переход от “обнаруживаемых” натуральных объектов в качестве предмета научного интереса к полаганию предмета через схватывание “сопротивляющегося” материала посредством оформления его средствами языка (языков) описания материала. Социальное переинтерпретируется как социокультурное, укорененное в структурах повседневного мира. Часть социальных теоретиков идут еще дальше, рассматривая “реальность” сквозь призму связи (ре)презентирующих ее концептов, данных в (не)соотносимых друг с другом дискурсах, как символическую и/или текстовую реальность, надевая социальное статусом квазиреальности, конструируемой и конституируемой в ходе развертывания управленческих, сферноориентированных, но прежде всего познавательных практик.

Если к сказанному добавить еще тезис об утрате абсолютной познавательной способности, в существовании которой не сомневалось классическое знание, а частично и свойственной неоклассическому знанию уверенности в том, что можно найти и “обустроить” избранные/выделенные/преимущественные и т.п. точки наблюдения, то вполне обоснованно говорить по крайней мере об утрате доверия к привычным онтологическим картинам и гносеологическим установкам. Происходит “реальная” релятивизация “точек наблюдения”, среди которых остается место и для позиции, сохраняющей приверженность “трансцендентальному означаемому”, вот только она не может больше некритически приниматься как универсалистская и определяться как доминирующая (скорее происходит ее оттеснение на периферию социологического мейнстрима, а соответственно — и ее маргинализация).

Социальное знание контекстно и/или контекстуально. Таковым оно было всегда, хотя неоклассический его образец (идеал) по-прежнему утверждает обратное. Любые универсалистского типа концептуальные схемы имеют значимые для их дисциплинарной судьбы контуры порождения и применения. Контексты порождения почти всегда латентны и проявляются, рефлексивно отделяясь от теоретического ядра концептуальной схемы, как правило, лишь постфактум, когда попытки применить заимствованное “универсальное” знание приводят не к тем или к не совсем тем результатам, которые ожидалось.

Хорошим примером в этом отношении является неоклассическая теория модернизации и ее более частный вариант — теория догоняющего развития. Так, по мере проявления очевидных попыток действовать на ее основе в странах полупериферии и периферии мировой системы был выявлен ранее слитый с ней контур порождения — многие теоретики стали разделять процессы модернизации и вестернизации. Но тем самым был затронут и более глубокий пласт социологической (социальной) теории, уходящий корнями в “классику” — концепцию М.Вебера о европейской природе “духа капитализ-

ма”. Универсализм концептуальной схемы был радикально поставлен под сомнение, но этот факт вовсе не говорит о невозможности адекватных “реальности” теоретических социологических построений — проблема во многом заключается именно в учете контекстов (контекстуальности).

Постмодернистская и постколониальная критика подобного рода построений (в параллели с собственно социокультурными практиками конкретных обществ) вовсе необязательно должна прочитываться как подрыв устоев научного знания. Конечно, такое прочтение вполне возможно — однако зачем превращать его в “единственно правильное”, а затем с ним “истово бороться”? И постмодернистская, и тем более постколониальная (в которой идеологический пласт достаточно очевиден) критика — обе имеют свой контур порождения, а также не являются универсалистскими перспективами (на что и не претендуют), но вполне справляются с задачами деконструкции “больших нарративов”, на что они и были изначально ориентированы. (При этом не следует забывать и о наличии иных решений, предлагаемых, например, мир-системным анализом И.Валлерстайна или теорией множественных модернов Ш.Айзенштадта.)

В этом отношении представляется, что гораздо важнее провести анализ эпистемологических оснований и методологических возможностей этих теоретических перспектив, соотнося их с аналогичными основаниями и возможностями иных подходов, отрефлексировать как ограничения их применения, так и причины их укорененности в тех или иных социокультурных контекстах и практиках, то есть в конечном итоге — все те же условия их (вос)производства. Однако с одним существенным дополнением: речь каждый раз должна идти не только об общих (“универсальных”) условиях этого (вос)производства, но и о его локализации здесь-и-сейчас в этих конкретных социокультурных — и, шире, исторических — (“локальных”) условиях. Исходя из сказанного, представляется, что только на основании постоянной “локализации универсального” и установления взаимодополнительности различных теоретических перспектив (с неизбежным отказом от неоклассического понимания единства и объективности знания, что не ведет к “отмене” ни “единства”, ни “объективности”) возможен выход на поиск теоретического синтеза в современной социальной (социологической) науке.

Под это предположение можно подвести еще как минимум несколько оснований, опять же связанных с пониманием постнеклассической рациональности (здесь нет возможности их развернутого анализа, но есть необходимость их обозначить).

Во-первых, речь идет о переносе “центра тяжести” в постнеклассической рациональности с методологических на эпистемологические проблемы. Несколько огрубляя этот тезис, можно сказать: с проблем приращения знания на проблемы его обоснования в качестве такового (то есть вопросы методологического характера становятся “производными” от принятых эпистемологических решений).

В качестве примера можно сослаться на применение качественных методов в социологии. Так, в постсоветском социологическом сообществе (сообществах), как и у “заказчиков” определенного научного продукта, длительное время существовало достаточно стойкое предубеждение против них и получаемых с их помощью результатов. В настоящее время ситуация существенно изменилась, но изрядная доля скепсиса по отношению к этим

методам и методологии качественного анализа в целом у значительной части практикующих социологов сохраняется. Это и понятно. Если в профессиональной ментальности прочно связаны представления о связи “объективности” получаемого результата с понятием репрезентативности, то изъятие этого понятия тут же ставит вопрос об “объективности” получаемого результата. Понятно, что в данном случае пресловутая “объективность” обеспечивается просто иными средствами, иначе понимается и нуждается в дополнительном эпистемологическом обосновании.

Однако одновременно можно обратить внимание и на другую сторону затронутого вопроса. Сама аналитическая традиция в рамках неоклассического знания проделала значительную эволюцию и пришла к довольно неутешительным для классических представлений об обоснованности, доказательности, истинности (и т.д.) научного знания результатам. От твердого убеждения в возможности верификации, позже — фальсификации научных теорий, а тем самым получения достоверного доказательного (и т.д.) их подтверждения методологическая мысль неоклассики двигалась по пути признания скорее гипотетичности, а затем и просто проблемности концептуально-теоретических построений. Параллельно шло движение от уверенности в кумулятивной природе научного знания к признанию неизбежных эпистемологических разрывов в нем и далее к тезисам о конкуренции научных программ о наличии в последних твердого ядра и изменчивой периферии, к выработке представлений о “сильной программе” и т.д.

В результате актуализировалась проблематика легитимации и санкционирования научного знания, его институционального и “внутреннего” дисциплинарного устройства. Весьма показательно, что в профессиональных текстах все чаще употребляется понятие “дискурс”, и все меньше — “дисциплина”. Это связано и с идущими параллельно процессами: размыванием дисциплинарных демаркационных границ (а тем самым и замкнутых предметных областей исследований), которые становятся весьма подвижными и условными, и с развитием сначала междисциплинарности, а теперь и трансдисциплинарной подходности. В этой связи можно предположить, что все явственнее звучащие предложения развести социальную и социологическую теории (а также “социальное” и “социологическое”) при всей их привлекательности идут вразрез с установками постнеклассической рациональности, относятся к неоклассическому идеалу знания (по сути — это требование жесткого восстановления демаркационных дисциплинарных границ) и вряд ли могут способствовать искомому теоретическому синтезу социологии.

Показательна в рассматриваемом контексте и одна из недавно прошедших дискуссий о месте социологии (шире — социального знания) в современном обществе, инспирированная М.Буравым, но имеющая, несомненно, более глубокие корни. За “поверхностью” и в этой дискуссии скрывается “глубина”: фоном и/или латентно, наряду с непосредственно обсуждаемым, присутствуют три пласта проблем, принципиально затрагивающих социальные основания социологического (социального) знания, еще глубже — соотношения “социологического” и “социального” (“знаниевого” и “практического”).

Речь идет, во-первых, о наличии “социального заказа” на определенный род знания в конкретном обществе, характере этого “заказа” и способах его институционального оформления и легитимации. Во-вторых, о соотношении аксиологической нейтральности / отнесенности к ценности (включен-

ности в некую целостность более широкого, чем знание, порядка) / так или иначе понимаемой принципиальной ангажированности социального знания. В-третьих – о контурах, стратегиях и техниках употребления (научного/социального) знания, то есть о его прагматическом (праксеологическом) аспекте.

При этом сам Буравой традиционно понимаемую “прикладизацию” знания признает вполне легитимированной версией оформления социологического знания, имеющей законное право на существование. В разных, но взаимосвязанных между собой аспектах, в данном случае можно говорить об инженерной (и технологически-манипулятивной) составляющей “прикладизации”, консьюмеризме и менеджерализации социологии (и не только социологии). К сожалению, это сложившееся в неоклассике представление о прагматике (праксеологии) социального знания остается в постсоветском пространстве доминирующим и репрезентировано в ожиданиях потенциальных “заказчиков” и “потребителей” его результатов.

Не больший интерес в интересующем нас аспекте представляет собой и легитимированное традиционное “академическое” знание (рецепция идеалов “классики”), на которое потенциально есть общественный “заказ” и соответствующие ожидания насчет его возможного воплощения в “техниках”, но обеспечение развития которого становится весьма накладным для стран с неразвитыми технологическими укладами, в силу чего и предлагаются многочисленные варианты реформирования его организационно-институциональных форм по выше обозначенному образцу “прикладизации”. (Если вдуматься, то оказывается, что реформаторы от науки предлагают преобразовывать “классику” средствами “неоклассики.”)

В качестве же прорывных направлений в современной социологии в ходе дискуссии рассматривались прежде всего ее критическая и (особенно) публичная формы востребованности, за которыми стоит иное понимание “социального заказа” на знание, перевод инженерно-манипулятивных стратегий его применения в социогуманитарные технологии, изменение понимания самой сути прикладного аспекта социального знания (через замену “прикладизации” понимаемыми сквозь призму постнеоклассики праксеологией и соответствующей прагматикой).

Если и дальше погружаться в “глубину”, то обнаруживается наконец “базовый” слой – открытость “социологического” “социальному”. Этот круг проблем достаточно адекватно поставили и обсуждали социологи, так или иначе связанные с феноменологическим подходом; однако феноменологическая социология никогда не принадлежала к дисциплинарному мейнстриму (к тому же, как представляется, ее уроки до сих пор в достаточной мере не усвоены). В настоящее время наиболее развернуто эта проблематика (ре)презентируется в работах исследователей, опознаваемых сквозь призму “умеренного” социального конструктивизма, а вот он (как представляется) вполне вписывается в современные тенденции развития социального знания.

Есть основания полагать, что анализ именно этого отношения (если не забывать при этом о принципиальной уязвимости любых универсалистских притязаний) может дать некоторые дополнительные ключи к пониманию столкновения и противостояния постоянно воспроизводимой в социальных науках мультипарадигмальности и столь же постоянно воспроизводимого

стремления к теоретическому синтезу (порождающему каждый раз экзистенциальную “тоску” из-за невозможности его в очередной раз достигнуть).

3

Есть необходимость несколько переформатировать обозначенные выше феноменологическую и конструктивистскую перспективы видения открытости “социологического” (“знаниевого”) “социальному” (социальным практикам) сквозь призму постнеклассического идеала рациональности. Не имея возможности развернутого анализа затронутой проблемы, обозначу здесь лишь несколько, как представляется, принципиально важных поворотов темы (причем уходящих корнями, что важно, в позднесоветскую эпоху, а освоенных и развитых уже в постсоветское время).

Речь, в частности, идет об идеях М.Петрова, еще в 70-е годы прошлого века подготовившего к печати книгу под названием “Социологический анализ проблем культуры”, изданную только в 1991 году под названием “Язык, знак, культура”. В этой работе Петров изложил свою концепцию культурного социокода и специально акцентировал внимание на значении научного знания (предложив параллельно и свою версию его генезиса) для возникновения, становления и судеб западной цивилизации.

В центре внимания концептуальной разработки М.Петрова находится индивид как соразмерный культуре, обладающий определенным контуром ментальной вместиимости, преодоление которого возможно только с изменением самого типа существующей культуры, способа ее “данности”, то есть с переходом определенных порогов, удерживавших соразмерность индивидов и культуры внутри рамок соответствующего типа социальности. При этом Петров исходит из того, что культура может быть адекватно понята через механизмы порождения, передачи, преобразования и употребления накопленного и создаваемого в ней нового знания.

Для развертывания петровской концептуальной схемы важно также зафиксировать “двойное существование знания” — в практической деятельности и языке повседневного общения, с одной стороны, и в автономной от профессиональных и повседневных практик (“опыта”) знаковой форме социально продуцируемого и “удерживаемого” культурой массива результатов специально организованной познавательной деятельности, с другой стороны. И в том и в другом случае знание и все операции с ним подчинены определенным, так или иначе институционализированным правилам.

Концептом, способным объединить все эти аспекты в функциональном единстве, и выступает культурный социокод, удерживающий в целостности (а) фрагментированный массив знания, (б) дифференцированный мир специализированных практик (деятельности), (в) институционализированные способы общения, (1) соотнося их с наличной ментальной вместиимостью индивидов, (2) обеспечивая (а) преемственность между поколениями живущих деятелей и (б) наследование и трансформацию культурно-знаниевых содержаний между поколениями. Социокод и выступает в рассматриваемой концептуальной схеме предельным основанием развертывания внутри своих пределов конкретики и многообразия всех возможных реализаций социокультурной жизни.

Петров выделяет три следующих друг за другом по принципу “раньше — позже”, но не вытекающих друг из друга по “закону необходимости” (а, следовательно, и не могущих быть оцененными по “шкале прогрессивности”) социокода. Базовым (исходным) выступает лично-именной тип кодирования, характерный для “архаических” человеческих сообществ. Второй рассматриваемый В.Петровым социокод — профессионально-именной — характерен для “традиционных” сообществ, а его моделью может выступать кастовая социальная организация. Третий тип социокода — универсально-понятийное кодирование культур антично-европейского типа. Только он позволил преодолеть именной принцип организации культуры, предполагающий жесткую привязку индивида к тому или иному фрагменту (интерьеру) социальности, и обойти ограничения, накладываемые на приращение знания в культуре ментальной вместимостью индивидов. Это стало возможным благодаря появлению дисциплинарной формы организации знания (философия, теология, наука), а главным образом — благодаря именно науке как европейской (западной) культурной практике, способной непрерывно производить новое знание.

Не вдаваясь далее в обоснование и развертывание последнего тезиса, следует обратить внимание на то, что в нем содержится весьма недвусмысленное утверждение о соотношенности и взаимозависимости внутри целостности культуры (шире — определенного типа социокода) контуров человеко-размерности, социальности и знания, а соответственно — о том, что знание, с которым каждый раз имеют дело социальные акторы, всегда подчинено (институционализированным) способам соединения действия и знака, допускаемым культурным социокодом, и несет отпечаток той феноменологически конкретной культуры, в которой оно было непосредственно (вос)произведено и/или в которой оно выводится в контур употребления.

Этот круг идей оказывается вполне резонансным представлениям о природе постнеклассической рациональности, развиваемым В.Степиным. В зрелый период своего творчества Степин перешел от анализа научных картин мира, как организующих и определяющих на “высших этажах” дисциплинарную организацию научного знания, к критическому анализу генерирования самих этих научных картин мира в определенных социокультурных условиях, а далее — к обоснованию тезиса о науке как об определенной сложно организованной социально-познавательной практике, а тем самым, в пределе, — к пониманию науки и ее результатов — знания — как определенного культурного продукта. Постнеклассическая рациональность, согласно Степину, учитывает соотношенность знаний об объекте не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельности, предполагая экспликацию внутринаучных ценностей и их соотношение с социальными целями и ценностями, то есть речь в данном случае идет фактически о признании неизбежной открытости “знаниевого” и “социального” в рамках определенных культурных целостностей.

4

Если вернуться с учетом сказанного в предметное поле собственно социальных наук, представляется, что так называемый “культурный (культурологический) поворот” в них, явственно обозначившийся в последней тре-

ти XX века, был связан с изменением предметного (проблемно-тематического) поля, с которым соотносим и целый ряд других “поворотов” этого времени — лингвистический, семиотический, антропологический и т.д., но в то же время он и был “реакцией”, пусть не всегда и до конца отрефлексированной, на возникновение новаций, укладываемых в представления о постнеклассической рациональности и неизбежно порождающих также изменение понимания самой сути социального (социологического) знания и его роли в современной общественной жизни.

Суть этого — до сих пор в должной мере не понятого по своим последствиям для социального (и социологического, само собой разумеется) — подхода к знанию состоит в том, что ведущим и “моделирующим” измерением социума и порождаемого в нем знания становится культура. Конечно, в этом утверждении можно увидеть очередное проявление абсолютизации культуроцентричного типа дискурса, как это уже случалось ранее с некоторыми разработками неоклассической и в целом неклассической социологии — П.Сорокина, постпарсонизма, культур-социологии Ф.Тенбрука, культурной антропологии К.Гирца и т.д. Однако в данном случае, как показывает критический рефлексивный анализ более поздних версий концептуализации введения новых “содержаний” (тем и проблем), связанных с этим “поворотом”, принципиально более важным оказалось перенесение акцента с расширения предметного поля и объяснительных (методологических) новаций (в интерпретативной линии социологии они к этому времени были уже достаточно хорошо проработаны) на выяснение эпистемологических оснований порождения и применения знания в рамках определенной культуры. Дальнейшее развитие этой “темы” усилило и ранее присутствовавшее в социологии внимание к перформативным характеристикам социального знания, что привело к совершенно иному, чем “прикладизация”, пониманию его праксеологии и прагматики.

Совокупность дискурсов, радикализировавших “культурный” (культурологический) поворот в социологии, можно обозначить (за неимением иного строгого термина) как культур-социологию (заодно давая отсылку к исходным ее интенциям в немецкоязычном социальном знании — теориям М.Вебера, Г.Зиммеля, австромарксизма). Одновременно предлагаемый термин позволяет отграничить эту совокупность дискурсов от традиционно понимаемой субдисциплины — социологии культуры, в общем и целом укладываемой в неоклассический образец теории среднего уровня (ранга), изначально разработанный усилиями Р.К.Мертон и его ближайших последователей.

В традиционно понимаемой социологии культуры была предпринята попытка (насколько удачная — это отдельный разговор) описания и анализа культуры в аспекте включенности культурного компонента в социальную жизнь общества и его подсистем и/или в аспекте выявления специфической области (сферы) культуры (места производства интегрирующих сообщества культурных образцов) как в институциональном, так и в поведенческом (деятельностном) срезе, то есть в качестве особой предметности социологического изучения. В социологической неоклассике сформировалась, в конечном итоге, традиция рассмотрения культуры как специфической подсистемы общества, наряду с его экономической, политической и социальной подсистемами. Никаких особых претензий методологического и/или

эпистемологического характера, понятно, в этой социологической субдисциплине не выказывалось, а реальные трудности в ее разработке редуцировались, как правило, на уровень специфики ее методического оснащения.

В случае культур-социологии речь идет о социологическом изучении культуры как предельной рамки генерирования и (вос)производства социальной жизни. Такой тип социологического дискурса требует переформулировки классического методологического принципа социологизма, сформулированного Э.Дюркгеймом и по умолчанию принятого, хотя постоянно и корректируемого в концепциях и теориях неоклассической и в целом неклассической социологии. Социальное начинает пониматься и трактоваться либо как социокультурное (“слабая программа” культур-социологии, вполне согласуемая с социологической неоклассикой, хотя и требующая ее существенной переинтерпретации), либо в терминах не только и не столько социокультурного, сколько в терминах знаково-текстового (“сильная программа” культур-социологии, опять же возможная в двух версиях: в одной из них рассматриваются механизмы взаимодействия “текстового” и “социокультурного” в аспекте порождения новых параметров общественной жизни; во второй так или иначе обыгрывается тезис об “исчезновении социального” и порождении квазисоциальных феноменов общественной жизни).

В обоих случаях в культур-социологических дискурсах речь, по сути, идет об объединении (синтезе) “социального” и “культурного” анализов в рамках единого целого, и фокус внимания исследователей так или иначе смещается с поиска особой предметности (особого предмета) социологического изучения (при этом происходит неизбежная проблематизация любых вводимых онтологических представлений) на эпистемологический статус таким образом понимаемого знания об обществе. Соответственно возникает и ряд проблем парадигмальной и методологической соотнесенности культур-социологических дискурсов и их дисциплинарной определенности. В последнем случае проблемным становится не только их соотношение с социологической неоклассикой, но и их соположенность (как минимум) с дискурсами культурной (и социальной) антропологии и культурологии (так как она прописывается в русскоязычном дискурсивном пространстве).

Не вдаваясь далее в обсуждение проблем и тем собственно культур-социологии, отмечу признаваемый в постсоветской социологии (социологиях) факт — в настоящее время наиболее (ре)презентабельной версией культур-социологии в социальном знании является проект так называемой “культуральной социологии” Дж.Александера и его коллег (упомянув попутно, что этот проект стал предметом критической рефлексии сотрудников московского Центра фундаментальной социологии ГУ-ВШЭ, возглавляемого А.Филипповым).

В контексте предложенного рассмотрения проект Дж.Александера интересен (в отличие от многих других) именно повышенным вниманием к собственным эпистемологическим основаниям. Свой проект Александер рассматривает прежде всего как версию “сильной программы” в культур-социологии, предлагая трактовать культуру как независимую переменную при конституировании социологических объяснений, фиксирующую осмысленный характер и наделение смыслами всех социальных проявлений, что неизбежно отсылает, в свою очередь, к знаниевым возможностям как непосредственных участников (акторов) социальной жизни, так и ис-

следователей, их дискурсивно описывающих (в том числе и с позиций научной рациональности). Остается только добавить, что сама эта рациональность как минимум может (если не должна) быть понята постнеклассически.

5

Подводя итог представленного выше рассмотрения, можно предложить следующий вывод, вполне отражающий авторскую позицию.

В качестве основания для анализа происходящего в современной социологии и преодоления ее трактовки как кризисной фазы развития неизбежно выведение дискуссии на метатеоретический уровень, предполагающий критическую рефлексию эпистемологических принципов социального знания. Представляется, что ключевыми при этом должны стать тема понимания (вос)производства социологического знания как специфической культурной практики и тема взаимной “открытости” “социологического” и “социального”, что принципиальным образом меняет понимание праксеологического и прагматического измерений социального знания.

Выходу на предлагаемый уровень анализа может способствовать критически-рефлексивное рассмотрение тех процессов в научной познавательной деятельности, которые в настоящее время наиболее адекватно опознаются через понятие постнеклассической рациональности. Однако из этого вовсе не следует, что это понятие (рассмотренное в данном тексте с опорой прежде всего на работы В.Степина) является “универсальным” и “единственно возможным” при предлагаемых вариантах анализа.

Тем не менее понятие постнеклассической рациональности позволяет в настоящее время понять принципиальную “неизбежность” мультипарадигмального описания “социальной реальности” и, что особенно важно, избыть “тоску” по теоретическому синтезу, поиски которого по-прежнему ведутся с позиций неоклассического идеала научного знания, не отменяя, вместе с тем, возможности поисков такого синтеза на принципах взаимодополнительности различных исследовательских перспектив в рамках конкретных социокультурных целостностей.

И последнее. Из имеющихся сегодня в распоряжении социологов концептуальных средств наибольшими возможностями для осуществления теоретического синтеза обладает, как представляется, именно культур-социологический проект, пытающийся прописать взаимоотношения между эпистемологическими установками исследователей и теми онтологическими “картинами социальной реальности”, которые они полагают в качестве предмета своего анализа.